ТАТЬЯНА КАСАТКИНА

*

ЗАЧЕМ ДОСТОЕВСКИЙ ИЗДАВАЛ «ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ»

И почему его читают молодые люди в XXI веке

В этой небольшой статье предпринимается попытка понять и по возможности внятно объяснить читателю, что такое философия произведений Ф. М. Достоевского, почему она существует в его текстах как внутренняя и имплицитная (скрытая) — и почему она не существует там ни в каком другом виде; а также — почему и зачем она оказалась нужна молодым людям XXI века.

Внутренняя философия произведений Ф. М. Достоевского оказывается близка современным молодым людям и востребована ими потому, что целью самого Достоевского при написании его произведений было предоставить читателю новые поведенческие паттерны, способствующие переходу человека на иной уровень мышления, бытия и взаимодействия с миром. Именно в таком порядке — через изменение поведения, через опыт действия открывается другое мышление и другое чувство мира.

Эти новые паттерны оказываются чрезвычайно востребованными в современной ситуации стремительно меняющейся картины мира и стремительно меняющегося ощущения человеком своего места в мире.

Вопросы, одновременно центральные для творчества Ф. М. Достоевского и главные для жизненного самоопределения молодых людей[1] нашего времени, которые мне вкратце хотелось бы обозначить в самом начале статьи, с тем чтобы развернуть их дальше, таковы: 1. Каковы и как строятся отношения человека с миром. Человек зависит от мира или мир от человека? 2. В отношениях человека с миром очевидны ничтожность и бессильность — или всемогущество «маленького» человека? 3. Чем достигается всемогущество? Как можно изменить мир? 4. Что значит «менять мир, меняя себя»? 5. Почему самопожертвование и полная самоотдача (то есть выход за пределы себя) — не ущемление, а расцвет и осуществление моего бытия? Как самоотдача становится способом подключения к другому и к миру и возможностью влиять на другого и мир? 6. Как отдать все, когда у тебя ничего нет?

Касаткина Татьяна Александровна — филолог, философ, доктор филологических наук. Автор фундаментальных исследований творчества Ф. М. Достоевского. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.

Исследование выполнено в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда (РНФ, проект № 17-18-01432) / This scientific investigation was carried out in the A. M. Gorky Institute of the World Literature of the RAS with financial support of Russian Science Foundation (RSF, the project № 17-18-01432)

[1] Раньше такие вопросы задавались (даже себе, а тем более — другим) гораздо меньшим количеством людей — и задающие их вслух рисковали получить диагноз и подвергнуться психиатрическому лечению. Потому что это *рамочные* вопросы, не дополняющие и не проясняющие, а переформатирующие картину мира. В зависимости от ответа на них меняется весь строй жизни человека, а строй этот долгое время для большинства почти полностью предопределялся устоявшимся социумом. Сейчас устоявшийся социум исчез — остались его островки, — но они стремительно разрушаются, поскольку не являются замкнутыми, сопротивляясь, часто очень радикально, этому разрушению.

Достоевский отвечает на эти вопросы всем своим творчеством — но прицельно и предметно — в «Дневнике писателя» 1876 — 1877 годов, а также продолжающих его выпусках 1880-го и 1881 годов. Этот «Дневник писателя» и задумывается им как пространство для таких ответов. Но, поскольку область, в которой ответы на подобные вопросы могут быть даны, отличается большей «мерностью» от привычной нам «реальности», те тексты «Дневника писателя», в которых ответы на вопросы даются наиболее прямым образом, маркированы так или иначе словом или жанровым определением «фантастические».

Переходя к предметному рассмотрению заявленных здесь тем, прежде всего определим, что имеется в виду под «внутренней» или «имплицитной» философией. Это не то, что можно вычитать/выписать из текста при дискурсивном чтении, не то, что там написано «прямыми словами». Внутренняя философия — это сердцевина повествования, не проявленная в собственно повествовании — или проявленная — и это еще наиболее простой способ — *противоположным* образом.

Дело в том, что философия эта рассчитана не на то, чтобы восприниматься «головой», проламываясь сквозь иные, не согласные с ней, осознанные[2] установки и убеждения, внушенные социумом, — или застревая в них, отбрасываясь ими, — а на то, чтобы непрямо и ненавязчиво, почти не вступая в конфликт, *раскрыть*, словно раскопать из под множества наносных элементов всегда наличествующий в человеке ***исконно сродный*** ему путь и способ отношения с миром и действия в нем — наиболее эффективный и абсолютно доступный любой личности.

Во всяком случае, именно как исконно сродный этот способ взаимодействия с миром воспринимается самим Достоевским. Вот что он пишет еще в 1862 году, в «Зимних заметках о летних впечатлениях»: «Что же, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня: ***самовольное***, ***совершенно сознательное и никем не принужденное*** самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. ***Это закон природы; к этому тянет нормально человека***» (5, 79) [3].

Особый и интересный вопрос, почему социум традиционно блокирует этот путь и способ.

Ответ, видимо, состоит в том, что до сих пор главная задача социума (не важно, какого объема: семьи или государства, корпорации или кружка по интересам) была — провести границы между своими и чужими — и сделать для

---

[2] Или неосознанные — и это еще более «непроходимая» субстанция, поскольку неосознанные установки существуют как «аксиомы»: ценности, не подлежащие оценке и не требующие доказательств, на которых базируется вся наличная, хотя часто и невербализуемая философия индивида. Это то, что в принципе очень сложно извлекается для осознания, потому что при попытке постановки вопросов к этим установкам человек отвечает не рефлексией, а нравственной оценкой: «Как ты можешь об этом спрашивать? Если для тебя не очевидно, что это так, — ты циник!»

[3] Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Л., «Наука», 1972 — 1990. Здесь и далее том и страница указываются в тексте в скобках после цитаты. Здесь и далее — курсив и курсив/полужирный в цитатах — выделено мной, полужирный — выделено цитируемым автором — *Т. К.*

человека возможными (и даже — *единственно возможными*) действия в пользу своих *за счет* чужих.

Таким образом, можно сказать, что эгоизм в нас настойчиво социально культивируется, взращивая индивидуальность, *я* (суть которого — границы; которое все есть — одна бесконечная каменная стена, отделяющая внутреннее личности от внешнего — и лишающая человека доступа и к тому, и к другому, размазывая его по тонкой разделительной линии[4]) вместо *личности*, суть которой — открытость, способ существования которой — солидарность со всем мирозданием, потому что только распространение до границ мироздания за счет сочувствия и соучастия обозначает для личности ее истинный масштаб и границы.

То, что при этом культивируется *коллективный* эгоизм, — в общем, не принципиально.

Между тем путь отношения с миром, раскрываемый для человека внутренней философией Достоевского, разбивает, делает абсолютно невозможной работу такого рода культурных установок. В результате чего человек становится практически неподконтролен — или гораздо в меньшей степени подконтролен — социуму с его окостеневшей системой базовых представлений о том, что такое человек. В силу чего личностью впервые и обретается настоящая, ничем не скованная и не блокируемая возможность этот социум менять.

Существо внутренней философии Достоевского, собственно, заключено **в утверждении в качестве основы действий человека в мире *личности*, а не *я***.

Имплицитную (непроявленную) философию я бы немного отличила от внутренней философии, назвав так ту специфическую установку, что присутствует в каждом слове произведения Достоевского; то, что проявляется *в самом способе обращения художника со словами*. Этот способ обращения со словами тоже воздействует на читателя мимо сознания, представляя ему паттерн другого типа взаимодействия, чем тот, к которому он, с большой вероятностью, привык.

Это ***уважительное и ненасильственное взаимодействие***, за счет которого слова Достоевского словно обретают другую весомость и невероятную глубину, что неудивительно, ведь автор отказался от того, чтобы заставлять их обслуживать сиюминутные нужды сюжета, ради чего словам неизбежно приходится сжаться, уплощиться, редуцироваться, оторваться от почти всего пространства своего смыслового поля (так же как личности, встраивающейся в задачи социума, приходится, как правило, серьезно поступиться собственной глубиной). Таким образом, имплицитная философия Достоевского, выраженная предельно кратко, заключается в утверждении бесконечной ценности любого слова для создания глубины текста — и любой личности для создания глубины жизни.

Внутренняя философия, таким образом, направлена на смену базовой парадигмы человека во взаимоотношениях с социумом, а имплицитная — на встраивание другого паттерна взаимоотношений между людьми.

Выше я сказала, что эта смена парадигмы и предоставление новых поведенческих паттернов были интенциональны со стороны Достоевского на протяжении всей его творческой жизни, а не просто так случились. Вот как описывает едва семнадцатилетний Достоевский мысль, подвигающую поэта на творчество и сопровождающую его в творческом процессе: «...некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из праха душа чистая, возвышенно-прекрасная» (28, 53).

А в своем последнем романе он отдает уже преображенному бедой и любовью, ощутившему в себе *нового человека* Дмитрию Карамазову почти ту же мысль, но еще более сильно выраженную: мысль о том, что самым высоким смыслом человеческого бытия, личности на высшей ступени развития (личности, в которой, по Достоевскому, проснулся, воскрес, ожил нигде не названный впрямую — в силу закона отступательной тактики Достоевского, — но так несомненно обозначенный Христос, «новый воскресший человек»), является

---

[4] См. об этом подробнее: Касаткина Т. Проблема доступа к философии и богословию писателя. Неизбежность филологии. Аполлон и мышь в «Записках из подполья» Ф. М. Достоевского. — «Новый мир», 2017, № 9.

помогающее участие в подлинном преображении другого человека. «Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. Страшно! И что мне в том, что в рудниках буду двадцать лет молотком руду выколачивать, — не боюсь я этого вовсе, а другое мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек! Можно найти и там, в рудниках, под землею, рядом с собой, в таком же каторжном и убийце человеческое сердце, и сойтись с ним, потому что и там можно жить и любить, и страдать! Можно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и ***выбить*** наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! А их ведь много, их сотни, и все мы за них виноваты! Зачем мне тогда приснилось „дите" в такую минуту? „Отчего бедно дите?" Это пророчество мне было в ту минуту! За „дите" и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех „дите", потому что есть малые дети и большие дети. Все — „дите"» (15, 30 — 31).

Мы видим, что Достоевский предлагает читателю тот же паттерн, который он сам непрестанно реализует в себе, в том числе — и в первую очередь — посредством своего творчества. Именно поэтому он никогда не выглядит назидательно — он не учит абстрактному хорошему, — а зовет за собой, предлагает собственный опыт.

Мы видим и еще одно — выделенное мною в тексте слово «выбить» обозначает действие не сверху вниз, как обычно понимают помощь (действие, которое позволяет поднять до себя, до своего уровня), а действие снизу вверх, поднимающее того, кому помогают, хотя бы на уровень выше помогающего. Истинное действие личности на высшей ступени развития (и именно по этому признаку ее можно определить) — не протягивать руку вниз, чтобы помочь добраться до своего уровня (но всегда чувствуется, что лучше — чуть ниже), — но — поднимать и, не останавливая движения, выталкивать со своего уровня вверх, помогать подняться ***выше*** себя. Это действие явлено нам иногда по отношению к детям (малым и большим) на земле теми, кем и в ком (часто неосознанно и незаметно) является нам божественная любовь: родителями и учителями. Об этом говорит, именно это действие намеревается осуществить Христос по отношению к верующим в него в этих вечно забываемых христианами словах Своих: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит» (Ин. 14: 12).

Мои наблюдения и попытки анализа жизненной позиции молодых людей XXI века — и того, что им дает и как с их позицией взаимодействует внутренняя/имплицитная философия произведений Достоевского, — происходили главным образом в процессе проведения мною в течение уже 20 лет Апрельских юношеских чтений «Произведения Ф. М. Достоевского в восприятии читателей XXI века» в России, и в течение 4 лет — Юношеских Достоевских чтений в Италии[5].

На основании этих наблюдений я могу говорить, что взаимодействие жизненной позиции современных молодых людей и подростков с внутренней философией произведений Ф.М. Достоевского происходит в первую очередь по следующим силовым линиям и возбуждает следующие вопросы[6]:

1. Каковы и как строятся отношения человека с миром? Человек зависит от мира или мир от человека? Человек ли определяется тем миром, в который

---

[5] Материалы чтений доступны в интернете, например, здесь: русские чтения — **<fm-dostoevskiy.narod.ru/txt/totals.htm>** и **<philologist.livejournal.com>** по тегу «Старая Русса»; итальянские чтения — **<ilmondoparla.com/materiali>**. Впрочем, эти чтения не закрыты друг для друга и последние четыре года обмениваются все более крупными делегациями со все более активным участием.

[6] Я не имею в виду, что молодые люди именно так и формулируют вопросы. Я предлагаю здесь формулировки, которые обобщают обычно задаваемые вопросы и проясняют их дальние интенции. Впрочем, иногда они формулируют свои вопросы именно так.

он пришел, занимает ли он часть уже готового и поделенного пространства этого мира, заставляя других потесниться — или его приход меняет мир, предоставляя миру новые возможности и новое, прежде никому не доступное пространство и время? Иначе говоря — истощается или обогащается мир с приходом нового человека? (Часто случается, что мы говорим, отвечая на этот вопрос: «Конечно, обогащается!» — но ведем себя так, что понятно, что мир при этом истощается, что новый человек становится не ***даром***, но ***конкурентом*** всем живущим.)

2. В отношениях человека с миром очевидны ничтожность и бессильность — или всемогущество «маленького» человека? Почему человек ощущает себя «маленьким» перед миром? Это его естественное ощущение — или это ощущение навязано ему социумом, чья задача — установление и поддержание стабильности, сохранение имеющегося — и жесткое встраивание новопоявившегося в уже имеющееся?

Собственно, именно этим вопросом о масштабе человека и открывается «Дневник писателя» 1876 года, который Достоевский, совершенно непонятным для читателя образом, с места в карьер, начинает разговором о самоубийствах. Достоевский начинает с самовольной смерти потому, что ***только в перспективе смерти*** — и причин, могущих подтолкнуть к небытию, — ***оценивается — и обретается — истинный масштаб человеческой личности***[7]. В частности, он говорит об этом масштабе следующее: «Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более „прекрасного созвездия Большой Медведицы", и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за всё счастие чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь **своему лику человеческому**. „Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне". Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его» (22, 6).

3. Чем достигается человеческое всемогущество? Как можно изменить мир? Где у человека обретаются те рычаги, те способы воздействия, которые позволяют ему начать действительно масштабные — и при этом не разрушительные, а созидательные — изменения?

4. Что значит «менять мир, меняя себя»? Почему именно я сам — тот рычаг, оказывая направленное воздействие на который я меняю далеко не только себя?

5. Почему самопожертвование и полная самоотдача (т. е. выход за пределы себя) — не ущемление, а расцвет и осуществление моего бытия? Как самоотдача становится способом подключения к другому и к миру и возможностью влиять на другого и мир?

И последний, уже совсем практический вопрос — а надо сказать, что подростков и молодых людей интересует именно практика, их вопросы не о том, как думать, а о том, что делать; и мысль, и концепцию мира они воспринимают очень практически, сразу задаваясь вопросом, какие действия, какой способ существования из них следуют — и это, на мой взгляд, самый правильный подход к мыслям и концепциям, — так вот, вопрос, буквально позволяющий начать подростку практиковать новый способ бытия (потому что именно в таком состоянии он себя и ощущает, как правило, в подростковом возрасте, даже в том случае, если он социально благополучен):

6. Как отдать ***все***, когда у тебя ***ничего*** нет?

---

[7] Не случайно проблема самоубийства в социологии и психологии рассматривается и как специфически подростковая проблема — она имеет возрастную привязку именно в связи с тем, что в этом возрасте происходит оценка своей личностной значимости и значительности, своего личностного масштаба.

Эти вопросы не только центральные для художественного творчества Достоевского с самого начала до самого конца, но и «Дневник писателя» он создает, в сущности, для того чтобы отвечать именно на эти вопросы.

Причем если в «Дневнике» 1873 года — в ряде статей, опубликованных в журнале «Гражданин», — он пытается говорить на именно эти темы в прямом дискурсе (например, статья «Среда» (21, 13)), публицистически, то в том настоящем «Дневнике писателя», представляющем собой творческое единство, который выходит как журнал одного автора и получает свое начало в 1876 году, Достоевский вновь, как и в художественных текстах, пишет не наступая, а «отступая» от читателя, позволяя ему *не заметить* главных тем, о которых неизменно идет разговор, оформляя свою философию как «внутреннюю» и «имплицитную».

Надо сказать, что читателям и исследователям «Дневника писателя» очень мешает увидеть внутреннюю целостность и истинную интенциональность этого текста то обстоятельство, что, говоря о «Дневнике», обычно рассматривают в одном ряду, благодаря единству жанра и названия, «Дневник писателя» 1873 года и тот «Дневник писателя», что выходит с 1876 года до конца жизни Достоевского, регулярно в 1876 — 1877 годах, нерегулярно далее, но от этой нерегулярности не выпадая уже из общего единства. Эта нерегулярность выхода и позволяет не заметить новой целостности, начавшейся именно в 1876 году[8] — и в силу этого не опознать январского номера «Дневника писателя» 1876 года как философского предисловия к этому новому «Дневнику писателя», в котором писатель неявно и недискурсивно — хотя очень отчетливо — обозначает свои глубинные задачи и намерения в таких его главках, как «Золотой век в кармане», — и особенно в заключении главки «Колония малолетних преступников», в той ее части, которая в названии главки обозначена: «Маленькие и дерзкие друзья человечества».

Именно потому, что в «настоящем» «Дневнике писателя» его философия оформляется как внутренняя и имплицитная, все основные и глубинные темы «Дневника писателя» высшее и окончательное свое выражение получают в художественных текстах — ибо только художественный текст в полноте обладает способностью такого «отступательного» воздействия на читателя, предлагающего тому возможность доступа и разблокирования глубинных основ его личности — но предлагающего в той форме художественного текста, которая, во-первых, обладает возможностью огромной многослойной концентрации смыслов, несущих освободительный эффект, а во-вторых — обладает возможностью сколь угодно долгого их хранения в «облатке» сюжета[9], из которого смыслы смогут развернуться, когда наступит для того читательская готовность — или острая ситуативная необходимость.

---

[8] «Дневник писателя» обычно и издается таким образом, что в первом томе все начинается с «Дневника писателя» 1873 года, и первый номер 1876 года даже зрительно не воспринимается как начало чего-то нового, тем более что Достоевский в первой главе этого номера начинает повествование с многоточия, как бы продолжая прерванный некий прежний текст, а далее настаивает на том, что это неожиданное и непонятное перебирание разных сюжетов было попыткой предисловия, а он «не мастер писать предисловия». В середине тома (или даже в начале тома — но если «Дневник писателя» не публикуется как целостный текст в составе одной книги, а достаточно произвольным образом разбит по выпускам, как в академическом собрании сочинений) это выглядит скорее как отрицание того, что здесь начинается что-то новое, тогда как в начале тома это заставило бы читателя искать предисловие (которое, как выясняется в кратком диалоге читателя с автором, должно быть следующим: «...объясните ваше направление, ваши убеждения, объясните: что вы за человек и как осмелились объявить „Дневник писателя"» (22, 6)) во всем выпуске в целом — то есть воспринять его весь как некое предисловие к изданию, в котором *непрямым* образом объясняется и направление, и убеждения автора, на что и рассчитывал Достоевский.

[9] «Облатка» — очень неточное выражение, обозначающее лишь один из аспектов того, чем сюжет является для этих концентрированных смыслов. В другом аспекте его можно назвать, например, «мнемоническим приемом» для них.

Интересно, что такой художественный текст, в котором разрешается, достигает своего высшего выражения поставленная в «Дневнике писателя» и прошедшая разные формы выражения мысль писателя, или прямо в жанровом подзаголовке называется автором «фантастическим», или слова с этим корнем маячат в непосредственной близости от текста, в пограничных с ним главках «Дневника...»

Если переход автора от публицистики к художественному тексту дает возможность огромного стяжения смыслов — то переход к «фантастическому» художественному тексту дает возможность *максимального* стяжения смыслов. Фантастическое в этом смысле — как бы *противоположный полюс* публицистического, то, что замыкает и завершает в единство по видимости разобранный, разнообразный и многотемный публицистический мир «Дневника писателя».

Опять-таки интересно при этом, что автор — по крайней мере в одном случае («Кроткая») — специально оговаривает, что, озаглавив рассказ *фантастическим*, он сам находит его *в высшей степени реальным*, а «фантастическое» заключено исключительно в самой форме рассказа, в некоем «техническом» допущении, которое и дает возможность этому в высшей степени реальному рассказу существовать (24, 5 — 6).

При этом во втором фантастическом рассказе «Дневника писателя» — в «Сне смешного человека» — также, строго говоря, не происходит ничего фантастического. Там тоже, в сущности, есть лишь «техническое» допущение, к тому же реалистически оправдываемое сном: то, что обычно существует на огромных пространственных и временных дистанциях, посредством сна приближается, становится обозримым. Для нас — и прежде всего для героя — становится возможным видеть все самые отдаленные во времени и пространстве последствия своих действий — те последствия, что обычно исчезают из виду уже на самой короткой дистанции, как исчезают из виду круги, расходящиеся в воде от брошенного в нее камня. Поэтому слова «Я развратил их всех» — не болезненное преувеличение, но всего лишь констатация *очевидного* для героя факта.

Почему же, однако, при этом Достоевский называет свои рассказы в «Дневнике писателя» «фантастическими», словно намеренно вводя читателя в необходимость отрефлексировать это напряжение между «фантастическим» и «в высшей степени реальным» (выражение, слишком напоминающее знаменитое самоопределение писателя — «реалист в высшем смысле»)?

Здесь нам понадобится контекст — поскольку очень важно, как писатель использует слово, концептуализированное в его творчестве (то есть — ставшее частью его творческой концепции), — особенно если это контекст того же самого «Дневника писателя». (Заметим при этом, что наличие такого концепта не запрещает писателю употреблять слово и в иных/расхожих на момент написания текста смыслах; слово, являющееся концептом, всегда так или иначе дополнительно маркируется в тексте — хотя бы, например, появившимся авторским рассуждением о нем.)

Вот текст «Дневника писателя», прозрачно концептуализирующий слово «фантастический»: «Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: **на чей глаз и кто в силах**? Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. <...> Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека ***фантастическое***» (23, 144 — 145).

Однако прозрачно текст это слово концептуализирует лишь в том случае, когда мы опознаем в нем скрытую цитату. «Я есмь Альфа и Омега, начало и

конец» (Откр. 1:8) — несколько раз говорит о себе Христос в Апокалипсисе. Таким образом, «фантастическими» Достоевский называет те тексты, которые дают глубину «насущному видимо-текущему», *проявляют* (посредством того или другого «технического» допущения) его концы и начала, скрытые в других, неочевидных, хотя в высшей степени реальных, божественных планах бытия. Те тексты, которые проявляют в человеке как Христа, так и его несоответствие Христу — то есть то, что и является истинными причинами всего происходящего в мире.

В сущности, такое определение фантастического — это одновременно идеальное определение жанра фэнтези — и *технологически*, то есть по технике воздействия на читателя, фантастические рассказы Достоевского абсолютно сходны с вершинами современного жанра, недаром столь востребованного молодыми людьми.

И Достоевский, и авторы фэнтези меняют количество и глубину уровней, на которых закладываются причины действий человека в мире. В результате чего, например, самоотдача и жертвенность выводятся не из потребностей социума и его одобрения, служащего жертве наградой за хорошее поведение, но из потребности самой личности в росте и переходе на качественно другой уровень бытия и взаимодействия с миром — для достижения чего самоотдача является единственным способом и где самоотдача становится самым естественным жизненным действием.

И Достоевский, и лучшие образцы фэнтези не преподносят читателю нравственные уроки — но раскрывают перед ним пути личного восхождения и преображения себя и мира — за счет «фантастического» введения в повествование *концов и начал*.

Посмотрим, как Достоевский делает это в самом начале «Дневника писателя», в первом выпуске 1867 года, в котором он очень быстро сообщает, что он не умеет писать предисловия — в результате чего в предисловие, в сущности, превращается весь первый номер. И действительно, открытую, не «внутреннюю» декларацию того, в чем состоят его направление и убеждения и для чего он собирается издавать «Дневник писателя», Достоевский просто не мог бы себе позволить — как не мог себе позволить в «Бесах» в окончательном тексте воспроизвести свою социальную программу, многократно отчетливо прописанную в черновиках и сводящуюся, в сущности, к трем словам: «если все Христы...»[10] — просто по ее «фантастичности».

Убеждения же его заключались в том, что одна развитая личность способна радикально изменить мир, а цель — в донесении до читающих самого наличия этой возможности — и «технических» способов ее реализации. Во внедрении в них, так сказать, этого знания.

Вот один из моментов почти прямой декларации его убеждений и программы, тот самый текст, обозначенный заголовком «Маленькие и дерзкие друзья человечества»: «„Герои, — вы, господа романисты, всё ищите героев, — сказал мне на днях один видавший виды человек, — и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного Государя, сперва служил

---

[10] Это «все Христы» — действительно лейтмотив черновиков к «Бесам», появляющееся в разных вариантах, но всегда как *единственно возможный способ осуществления реальных социальных преобразований:* «...жертвовать и жертвовать, тогда все взаимно и будут счастливы, ибо предположить, что все Христы» (11, 106); «Если б представить, что все Христы, то мог ли быть пауперизм? В христианстве даже и недостаток пищи и топлива был бы спасением (можно не умерщвлять младенцев, но самому вымирать для брата моего)» (11, 182); «Христианство компетентно даже спасти весь мир и в нем все вопросы (если все Христы...)» (11, 188); «Вообразите, что все Христы, — ну возможны ли были бы теперешние шатания, недоумения, пауперизм? Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в Христе и не христианин. Если б люди не имели ни малейшего понятия о государстве и ни о каких науках, но были бы все как Христы, возможно ли, чтоб не было рая на земле тотчас же?» (11, 193); «Вот тут труд всеобщий (если б все были Христы) проявился бы с радостным пением, но не афинских вечеров» (11, 193).

в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, — вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалования, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, — в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой, это „идеалист сороковых годов" и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим *частным случаем* может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России не бросать в нее про все за все грязью".

Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, *совсем не идущий к делу*) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, *не дожидаясь общего подъема и почина*» (22, 25).

Нигде не сказав о том прямо — и, наоборот, всячески подчеркнув смешную невозможность такого вывода, Достоевский предлагает читателю совершенно фантастическую мысль, потом регулярно повторяемую на страницах «Дневника...» и окончательно выраженную в «Сне смешного человека»: нигде и никем не замеченный человечек, живущий в согласии со своими глубинными душевными движениями, освобождает глухо и незаметно трех-четырех человек — в результате чего через 20 лет вся Россия в едином порыве уничтожает у себя крепостное право. Человечество — единый организм, подспудно внушает и дает ощутить читателям Достоевский, — и если одна его клетка перестала жить по навязанному регламенту и начала следовать истинным и глубинным желаниям сердца своего, пожертвовав для этого всем, — то через двадцать или через сто лет, или через тьму веков — но перестроится весь организм, ибо движение начато и не может быть остановлено. Один человек, просто меняя себя в сторону истинного своего бытия и назначения, неизбежно меняет мир и человечество. И — стоит только перестать чувствовать свою нищету и попытаться увидеть нужду другого — у тебя непременно найдется что отдать. Об этом Достоевский очень явно написал еще в «Преступлении и наказании».

Но в «Дневнике писателя» он идет дальше, он показывает (особенно наглядно — в главках первого и третьего выпусков «Дневника» за 1877 год: «Фома Данилов, замученный русский герой», «Похороны „Общечеловека"» и «Единичный случай»), что, как только ты сконцентрируешься на нужде другого, совсем не думая о себе, ты превратишься в изобильный источник всего потребного миру — и мир отзовется и раскроется в своей райской, изобильной и благодатной, сущности, не несуществующей, не уничтоженной, но глубоко погребенной некогда грехопадением и восстановленной во всей полноте Христом — и лишь скрытой от нас стеной нашего сосредоточенного на собственной нужде и нищете *я*.

Эта внутренняя философия творчества Достоевского в сочетании с предложенными им практиками ее осуществления в пространстве собственной жизни оказывается жизненно важна и востребована молодыми людьми начала третьего тысячелетия еще по одной причине. Она впервые не энигматически, а логично и прозрачно отвечает на вопрос: что такое быть по-настоящему первым? И что значит: первый — это второй? Достоевский достаточно прямо показывает — в том числе самим строем своего текста, недаром названного М. М. Бахтиным «полифоническим», где каждому из героев принадлежит самостоятельный, полноценный, нередуцированный голос, — что мы все, просто по факту рождения — первые. Мы все — цари, «род избранный, царственное священство» (1 Петр, 2:9), для нас первое место обеспечено просто нашим вхождением в

бытие — ибо мы все *протагонисты нашей собственной жизни*. В конце концов, всемирную историю можно описать так, что она сойдется вся к каждому из нас — и вся от каждого из нас разойдется, измененная нашим пришествием в мир. Можно сказать, что Столетняя война произошла для того, чтобы твоя пра-пра-пра-прабабушка и твой пра-пра-пра-прадедушка имели шанс встретиться. И это верно — для каждого.

И тогда — в чем наша исключительность, наша великость? Откуда она может взяться, в чем проявиться? Эта исключительность, великость проявляется, когда мы становимся вторым в чьей-то еще жизни. Когда мы выходим *за пределы* той *нашей* жизни, в которой мы протагонисты, в которой мы первые. То есть — *превосходим* себя, превосходим свою историю, становимся необходимыми участниками других историй в качестве второго, помогающего протагонисту осуществиться во всей мыслимой полноте.

И чем в большем количестве жизней нам удалось стать вторыми, тем больше мы повлияли на все движение человеческой истории, на общечеловеческое движение к своему становлению в идеальной форме. И вот эта задача быть вторым — это и есть то, о чем Христос говорит как о цели Своего пришествия: «...не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (Мф. 20:28). Это и есть то, что для Достоевского становится закономерным и блистательным итогом развития личности на самой последней ступени ее восхождения к истинной себе самой.